

В108 234

ГЕРОИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

А. ГОРОБОВА

ПОЛИТРУК КЛОЧКОВ



Подарок Гвардия

1943



3108 234
А. ГОРОБОВА
X

ПОЛИТРУК КЛОЧКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1943

Редактор Б. Евгенийев
Подписано к печати 9/VII 1943 г.
Л40163. $\frac{9}{4}$ печ. л. 58 240 зн. в
печ. л. 1,2 уч.-изд. л.
Тираж 50 000. Заказ 729.
Цена 30 коп.

Ф-ка юн. книги изд-ва ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». Москва,
ул. Фридриха Энгельса, 46.



777 482



Подвиг, воинская слава обычно заслоняют перед нами, современниками героя, его простой, будничный облик. Нам трудно представить себе его в мирной жизни. А ведь нередко именно в ней заложены качества человека, приводящие его к подвигу, к славе. Нам трудно представить себе, что политрук Василий Георгиевич Клочков, человек, который с двадцатью восемью гвардейцами принял сокрушительный удар пятидесяти четырех вражеских танков и не отступил ни на шаг, до войны занимался самым штатским делом: был заместителем директора треста столовых и ресторанов в городе Алма-Ата.

Работники треста хорошо помнят, как легкой, быстрой походкой проходил Василий Георгиевич по коридору, снимал черное пальто с каракулевым воротником, каракулевою шапочку, на ходу здороваясь и улыбаясь.

И для того, чтобы понять, как этот человек стал героем, хочется рассказать, ничего не прибавляя от себя, рассказать без прикрас то, что было.

Василий Георгиевич Клочков родился в 1911 году в селе Синодское на берегу Волги, под самым Саратовом. Детство его прошло, как и у всех ребят, которым посчастливилось родиться на вольной русской реке. Летом он часами купался, — купался до одури, пока не сведет икры, не застучат зубы. Зимой начинал бегать на конь-

ках еще до того, как на реке окрепнет лед. Словом все было, как у всех. Но с десятилетнего возраста у Васи Клочкова начинается своя, и в первые годы очень печальная, биография.

Был год засухи — 1921-й. С Поволжья люди тянулись в Сибирь за хлебом. Ехали семьями, в теплушках. Дорогой болели тифом, умирали. У железнодорожных разъездов вырастали кладбища. Под Самарой от сыпного тифа умер у Васи отец. Потом умер от тифа брат. В Сибирь мать с двумя девочками, Таисией и Анютой, устроилась жить «за ради бога» в чужой семье, в селе Михайловском, а мальчики — старший, Иван, который потом стал инженером-химиком на одном из ленинградских заводов и младший, Василий — пошли беспризорничать по деревням. Они ходили вместе, держась за руку, и, покачивая кудрявыми полными пыли головами, жалобно пели:

На мою да на могилку
Ох! никто не придет.
Только ранней весною
Соловей пропоет...

Бабы жалели их, выносили ломти хлеба, жирно намазанные творогом, вытирали им носы подолами юбок.

Ранней весной, еще до того, как запели соловьи, Вася Клочков поступил в пастухи к кулаку Калайде. Пас кулацких коров на зеленых прогалинах тайги. В тайге было темно. Лиственницы шелестели за его спиной. Он был один-одинешенек... И, должно быть, ему бывало одиноко и страшно. Но что же было делать? Он должен был работать... Жизнь не раз посылала ему нелегкие испытания. И тогда мальчику приходилось собирать все свое мужество.

Однажды хозяин спросил Васю:

— Трус ты, парень, аль нет?

— Не трус, — ответил Вася.

— А мы попробуем.

И хозяин спустил на пастуха мордастого цепного Полкашку, который без труда мог бы и волка задушить. Мальчик не побежал от него. На голове у Васи на всю жизнь остались одиннадцать рубцов — следы собачьих зубов.

От кулака Калайды он ушел сначала в больницу залечивать укусы, а потом в ученики к счетоводу сельпо.

Молодым пареньком, с ломающимся голосом, с темным вихром над лбом, с руками, которые вдруг, в один год, стали намного длиннее рукавов, полный неутоленного любопытства и жажды жизни, Василий Клочков вступил в комсомол.

Это был канун коллективизации, боевые годы, когда комсомольцы строили Днепрогэс и города в тайге за Полярным кругом. Это были годы, когда страна назвала десятки имен комсомольцев-ученых, комсомольцев-инженеров, комсомольцев-музыкантов, взявших первые премии на европейских конкурсах. Они овладевали наукой, всем своим существом они мечтали о знаниях, как люди, попавшие в пустыню, мечтают о воде, о тени.

Комсомолец Вася Клочков пока еще робко приобщался к культуре: он стал избачом.

Какие страстные разговоры велись молодежью здесь, в деревенской избе, за грубо сколоченным столом, за свечным огарком, когда за окнами стояла снежная сибирская ночь!

Комсомольская организация послала Васю учиться в школу крестьянской молодежи, которая находилась в большом сибирском селе Локоть. Через три года Клочков окончил школу. Он овладел азбукой знаний, но этого было мало. Он решил: пускай через год, пускай через два, но он будет учиться дальше. А пока... Клочков встал за прилавок тесной и темной поселковой лав-

чонки. Он торговал всем: стеклами для керосиновых ламп, иголками для швейных машин, калошами, солью, селедками. На прилавке, рядом с весами, лежали раскрытые книги — история географических открытий, томик Пушкина.

Продавец сельпо, потом — контролер сберкассы, потом — бухгалтер. В 1932 году он поехал навестить родной Саратов. В Саратове он остался.

Василию Ключкову шел двадцать первый год. По вечерам он учился на втором курсе саратовского строительного техникума, днем работал бухгалтером в управлении связи. И в техникуме и в управлении он вел комсомольскую работу. Не забывал мать: посылал деньги, писал бодрые письма. Он любил музыку, часто бывал в концертах. В двадцать три года он женился.

Василий Ключков рос, мужал вместе со своим поколением, со своей страной, он был плоть от плоти ее.

С 1940 года он — алма-атинский житель. В Алма-Ате жили родители жены.

Он уже был членом партии.

Ровно в девять, снимая на ходу черное пальто с каракулевым воротником и каракулевою шапочку, он подымался в свой кабинет на втором этаже большого серого дома: трест столовых и ресторанов. А через два часа его уже видели за пять километров, в совхозе, который отпускал столовым города помидоры и лук. Еще через час он стоял в белом халате у плиты, где, булькая и шипя, распространяя запах петрушки, варился суп, и беседовал с шефом-поваром. Он знал все тайны кулинарии: как лучше поджарить барашка, как отварить рис, чтобы зерно отделялось от зерна...

Неуемная жажда к знаниям, учеба были жизненной потребностью Ключкова. Многого хотел познать и познавал он своим пытливым умом.

Работая, он успел окончить два заочных института: при Наркомземе, получив звание экономиста-плановика, и Московский литературный институт.

Он умел обуздывать время, выжимать из него каждую секунду. И ему хватало времени на все. В его комнате остались следы того, как он занимался.

На столе книжка — дешевое издание «Войны и мира». Поля в пометках. Вот абонемент читального зала, на нем две сотни названий книг. К абонементной карточке библиотекаря аккуратно подклеила листок бумаги, чтобы все это уместить. Вот его тетради, конспекты, блокноты, где он записывал свои мысли. Успевал он и на гитаре поиграть (вот она висит рядом с его фотографией), успевал сходить в кино, повозиться с дочкой.

Он говорил жене:

— Нина, я хочу иметь много ребят, чтобы они цеплялись за шею, за руки, чтобы ползали по мне, когда я лежу... — и он кружил жену по комнате. Ему было тридцать, а он был все такой же горячий, быстрый, с непокорным вихрем темных волос над лбом, по-юношески нетерпеливый, по-зрелому настойчивый.

В первые дни войны Ключков был призван в Красную Армию и аттестован политруком. Уезжая, он сказал:

— Нинок, повоюю и вернусь. А ты не грусти! — И добавил полушутя, полусерьезно: — Глядишь, еще героем вернусь!



18 августа воинский эшелон отошел от станции Алма-Ата 1-я. Остались за хвостом поезда пыльный скверик, очередь у билетной кассы, привокзальный базарчик, где уже продавали раннее яблоко — лимонку...

В этот день кончилась мирная жизнь Василия Ключкова. Позади остались семья, дом с крошечным двориком на многоводной улице за парком, у маленькой

быстрой речушки с подсолнухами по берегам, с теплыми, тихими, как в деревне, вечерами, полными запаха сушеных яблок.

Впереди предстояла жизнь, в которой было только одно — война. Эта военная жизнь была у Василия Георгиевича много короче мирной жизни. Но оказалось, что она и есть самая важная, а тридцать прожитых лет только подготовка, только вступление к ней.

Мы знаем, каким был Василий Георгиевич Ключков — честным работником, хорошим семьянином, человеком удивительной энергии. Казалось бы, ничего особенного в нем не было. Но, должно быть, именно эти простые качества простых и хороших советских людей сделали его на войне героем.

...Огошел воинский эшелон. Нина Георгиевна, жена Ключкова, еще долго стояла на перроне, долго смотрела вдаль, где уже скрылся железнодорожный состав, а потом через маленькие железные ворота вышла на привокзальную площадь.

А Василий Георгиевич сел у окна и тоже смотрел куда-то в пространство, и хотя день был не жаркий и можно было бы поспать, чтобы скоротать время, спать ему не хотелось.

Проехали Джамбул. Проехали Кызыл-Орду. Вместе с Ключковым, в одном вагоне, ехали Тимофеев — рабочий 2-й швейной фабрики, Митин — слесарь трамвайного парка, комсомолец Дутэв из колхоза имени Сталина и почти все те, с которыми позднее Василию Георгиевичу пришлось плечом к плечу встретить смерть. На больших станциях они бегали к военному коменданту за талончиками на обед. На Аральском море и в Казахстане покупали у мальчишек жирных, пахнущих дымом, видно испеченных в костре, сазанов. Писали письма домой.

Им навстречу шли эшелоны с фронта. Приближалась

война. Вокруг все уже было другое. Но прежняя жизнь летела за ними, как птица за кормой корабля. Уже давно скрылся родной берег, даже ветер не доносит знакомые запахи, а птица все летит и летит, и в клюве у нее соломинка с крыши отчего дома... Им все еще снились прежние сны. Приходили на ум забытые поручения, недоделанные домашние дела.

Поезд стоял в Чкалове. Василий Георгиевич наскоро набросал открытку домой:

„Здравствуйте, любимые Ниночка и дочка Эличка.

Сейчас отдыхаем в Чкалове. Настроение у всех прекрасно, бодрое. Сегодня, Нина, дважды видел тебя во сне. Хотелось бы увидеть и дочку.

Крепко-крепко целую.

Ваш папа.

22/VIII 1941 г.“

...А поезд уходил все дальше и дальше от дома.

Заглядывала в окна однообразная оренбургская степь. Желтая рябь покрывала барханы, и трудно было поверить, что это не вода какой-нибудь реки, а пески, сушь. На одном из разъездов эшелон, в котором ехал Ключков, задержался. Ждали встречного. Все вышли и уселись на насыпи. Приятно было посидеть на земле, теплой от солнца, покрытой желтыми травинками и невзрачными, растущими у самых шпал цветами.

Подошел состав с эвакуированными детьми. Дети стояли у окон. Их тонкие шейки, худые бледные лица внушали такую нестерпимую жалость, что люди из воинского эшелона, еще не привыкшие к этому новому чувству, рожденному войной, даже несколько растерялись. Они совали детям куски сахара, заветные коржики, испеченные женами и припрятанные на самое дно вещевого мешка. Детские ручонки протягивались ко всем этим уже забытым богат-

ствам. Эшелон двинулся. Дети кивали, улыбались и кричали бойцам:

— Дядя, ты немца убей!

Клочков любил детей, как всякий хороший человек, у которого у самого есть дети. Эта встреча глубоко огорчила его сердце. Он писал жене:

„24/VIII 1941 г.

...Много мы проехали городов, деревень, сел, аулов и станций. Везде все—от мала до велика—от души приветствовали нас, желали победы и возвращения, а беженцы просили отомстить фашистам. Я смотрел на детей. Дети возраста Элички, и даже меньше, кричали, махали ручонками и желали нам победы.

...Я всем детям обещал побить побольше фашистов. Для их будущего я готов отдать всю кровь, каплю за каплей. В случае чего (об этом, конечно, я меньше всего думаю) жалей и воспитывай нашу дочку, говори ей, что отец любил ее и за ее счастье пошел воевать... Конечно, я вернусь и нашу дочь воспитаем вместе. Поцелуй ее крепко-крепко. Я здорово соскучился по ней, конечно, и по тебе..“

Поезд приближался к Москве. Гудели патрулирующие самолеты. С привокзальных зданий в небосмотрели зенитки. Шел дождь. По косогорам рассыпались молоденькие березки. Дым низко стлался по земле, путаясь в сырых, почерневших от дождя перелесках. Василий Георгиевич смотрел в окно, и этот грустный российский пейзаж казался ему родным, как-то подбадривал его. «Хочется чертовски побить паразитов!» писал он жене из Рязани.

В вагонах царило веселое нетерпение: сейчас Москва! Эшелон подали к московскому вокзалу.

Клочков вышел в город.

Он шел по темным пустым улицам. Мимо зеркальных

витрин, доверху забаррикадированных мешками с песком, мимо только что разрушенного дома и другого, в котором от воздушной волны вылетели стекла. Окна уже успели забить фанерой, но стеклянный порошок еще хрустел на тротуаре... По аллее сквера ехал отряд казаков. Полы их бурок, мокрые от дождя, хлопали, как крылья. Через площадь Дзержинского Клочков вышел к зданию Большого театра. Как-то, приезжая в Москву, чтобы сдать экзамен в заочном институте, он слушал здесь оперу «Руслан и Людмила». Теперь Большой театр был замаскирован сеткой с наклеенными картонными тополями. Над городом гудели самолеты. Светлые пальцы прожекторов прощупывали низкое дождевое небо...

Клочков подошел к углу Неглинной и опустил в почтовый ящик письмо.

„Ночь провели в Москве. Чертовская ночь, воровская ночь. Дождь шел все время. Пока что неизвестно, был в Москве или около Москвы германский вор, но целую ночь гудели моторы самолетов“.

Это было 25 августа. По сводке Информбюро в эту ночь на подступах к Москве был сбит 21 неприятельский самолет. Когда утреннее радио передавало это сообщение, эшелон, с которым ехал Клочков, уже находился в пути: Н-ская стрелковая дивизия ехала защищать город Ленина.

27 августа был бой, в котором впервые в жизни участвовал Клочков, — бой за Ленинград.

За час до этого боя он отправил открытку домой:

„27/VIII 1941 г.

Нина и Эля!

Пошел в бой.

Целую.

Ваш папа.

Около Ленинграда“.

Даже самому храброму как-то боязно впервые идти под вражеский огонь. И от того, что написал он эту открытку, ему казалось, что ласковая рука жены ответит вражескую пулю.

А через неделю он писал:

„3/IX 1941 г.

Жив и здоров. Начал привыкать и почти уже привык к военной жизни. Настроение хорошее. Готовь мне посылку: конфеты, шоколад, печенье и немного сушеных яблок...“

Он жил в палатке в лесу. Березки, кустики, болота с клюквой. Осень тут была не та, что в Алма-Ате, полной яблочных запахов, когда на каждом углу мальчишки продают ранний апорт, прямо из сада, еще с туманцем, а настоящая, ленинградская, с невеселыми дождями. Дождь мелкий, нудный. Люди рыли окопы. Тяжело было работать в грязи, в сырости. А тут еще налетали вражеские самолеты, бомбили.

Клочков сидел в палатке. Над его головой по брезенту стучал дождь. Положив лист бумаги на планшет, Клочков готовился к докладу. Доклад о Ленинграде.

Детище Петра. Колыбель революции. Город Ленина. Город великого зодчества...

Клочков вышел из палатки, чтобы немного размяться, и встал под елку. Сквозь ее густую хвою дождь не проникал, и вокруг ствола было сухое, усыпанное желтыми иголками местечко. Клочков смотрел перед собой. Там, за пеленой дождя, незыблемо стоял осажденный немцами Ленинград.

И этот город, эту болотную, насквозь пропитанную влагой землю, это пепельное небо пришел защищать Василий Клочков, потому что это была родная земля.

.....

„Здравствуйте, дорогие дочь и жена!

Сажу в комнате и за столом пишу это письмо. Я второй день в деревне и две ночи спал в тепле. Здесь ведь не Алма-Ата,—осень настоящая! Старушка, хозяйка квартиры, живет одна, хорошо за нами ухаживает. Она трех сыновей проводила на войну, а нас как раз трое. Вот она нас и жалеет, как родных сыновей“.

По ночам, просыпаясь, Ключков видел, как старушка крестила их спящих и тихо шептала:

— Будьте живы, орлы!

— Что это ты, мать? — спрашивал Ключков.

— Жалко вас — убить могут! — И она вытирала выцветшие, по-старушечьи добрые глаза.

— Что же, бабушка, или не ходить? — улыбался Ключков.

— Идите, орлы! Матери каждая сыновья кровинка к сердцу, а только вы идите. Нет хуже для сердца матери, если уродится сын трус.

Товарищами Ключкова по квартире были сержант Иван Добробабин, родом из Киргизии, из города Токмака, комсомолец, весельчак, силач, и другой — командир взвода, Калейников Дмитрий, до войны продавец сельпо в Кугалинском районе Казахстана. По вечерам к Калейникову приходил друг, Яков Бондаренко, и пел высоким озорным голосом украинские песни.

Когда друзья уставали петь и балагурить и засыпали, Ключков тихонько надевал шинель и стараясь не скрипнуть половицей, выходил из избы. Он стоял и слушал то далекие, то близкие голоса немецких орудий. В деревне было тихо. Даже собаки не брехали. Опустились почти все дворы, — мужики ушли на войну, бабы двинулись подальше от немцев, увезли весь домашний свой скарб, угнали скот, даже собак увели...

..В сентябре было затишье. Давно не показывались

неприятельские самолеты. Второй батальон, где служил Ключков, стоял в резерве. Лагерь разбили у села П. Бойцы и командиры часто ходили в село пить чай. Жизнь шла размеренно. В шесть утра бойцы собирались на зарядку. Потом начиналось ученье...

Мирная жизнь! Ключков скучал и часто писал домой.

„Досадно становится, когда товарищи воюют, а ты сидишь резервистом. Позавчера наша артиллерия целые сутки громила немцев. Не зря немцы говорят: „И где только русские берут снаряды? Головы поднять нельзя“. Артиллеристы работали отлично, а мы все в резерве. По дойдет скоро очередь и до нас, и мы повоюем. Здесь становится холодновато. По ночам заморозки“.

Долго скучать Ключкову не пришлось.

В конце сентября он со своим подразделением был послан в разведку в тыл противника. Шли болотами, увязая по самые голенища. Немцев обходили с фланга. Дорогу выбрали самую чащобную, самую глухую, чтобы вернее дойти и разведать, где строит враг укрепления. Трудно было идти. Заплечные мешки, в которых всего-то и было, что сухарей дня на три, махорка да гороховый суп в концентратах, казались очень тяжелыми. Хотелось пить. Но болотная вода пахла торфом. Ее не пили.

К ночи вышли на большак.

Ночь была темная, и, что делается на той стороне большака, нельзя было ни разглядеть, ни угадать. Решили заночевать в кустиках, у самой дороги. Разулись, покрылись шинелями и тут же уснули. А утром — и смех и горе: мокрые кирзовые сапоги промерзли, и голенища стояли, как деревянные лубки, — трубками. Не обуваясь, стараясь не хрустнуть застекляневшей на утреннем заморозке веточкой, отошли в лес, шагов на двести, и принялись оттаивать сапоги, засовывая в голенища куски горячей бумаги — пакеты из-под сухарей. По сапогу катились крупные капли, и он обмякал.

Этот способ придумал Клочков.

— Повсюду наш политрук поспевает; — улыбаясь, говорил Бондаренко, — робит, робит, дие, дие без устали!

Дие — украинское слово. По-русски оно значит — действует. Это было крылатое слово. Оно как нельзя лучше определило кипучий, деятельный характер Клочкова. Бойцы в роте даже забыли вскоре настоящую фамилию политрука и называли его не Клочков, а Диев.

Оказалось, что ночевали под носом у врага: большак перерезали немецкие окопы и блиндажи... Весь следующий день и всю ночь бойцы пролежали в кустах у дороги, наблюдая за немецкими саперами, и только перед самым рассветом переползли большак.

Десять дней ходил Клочков со своими бойцами в разведке. Они побывали в занятых немцами деревнях. Не раз замечал их враг, но они ускользали, и только пулеметные очереди прочесывали вслед за ними молоденький ельник.

Они нанесли на карту десятки значков — расположение немецких штабов и укреплений. По пояс в воде перебирались через реку. Целые сутки неподвижно пролежали в болоте, пропуская немецких мотоциклистов. От голода жевали белые водянистые корни болотной травы. Они потеряли двух бойцов — храбрых, веселых парней. Их убило осколками мины на маленькой лесной поляне.

„За последние 10—15 дней я не писал вам потому, что был со своим подразделением в разведке в тылу у врага. Остался жив и невредим. В бою с немцами мы потеряли двух бойцов, и одного ранило. Мы же покروшили много. Я стал „заядлым“ разведчиком“, писал Клочков домой.

Боевая жизнь накрепко спаяла бойцов настоящей дружбой. В опасных операциях каждый старался за-

слонить товарища от вражеской пули. Каждый готов был отдать товарищу последний табак, в холодную ночь укрыть соседа своей шинелью. Особенно любили бойца Клочкова. Они доверяли ему свои самые сокровенные мысли.

— А ты политрука спроси, — говорили бойцы друг другу в затруднительных случаях.

Приходил в блиндаж к Клочкову боец Натаров.

— Товарищ политрук, разрешите обратиться...

Рассказывал Натаров, что стали они строить с женой хату, а тут — война, так и не достроили. Как-то перезимует семья в холодной старой хате?..

Санитар Тимофеев, прежде чем войти, смущенно топтался на пороге.

— Товарищ политрук, мне семейство свою фотокарточку прислало...

— Ай да дочка! — Клочков внимательно разглядывал фотографию. — Бант-то какой! А как зовут?

— Томочка, то есть Тамара, товарищ политрук.

— А у меня — Эличка, — говорил Клочков. — В перебьеме немцев — и домой. Ты как располагаешь?

— Домой, товарищ политрук, — только бы скорее уничтожить гадов!

Ночью, при свете керосиновой лампы, Клочков писал председателю колхоза «Строитель» о том, что хорошо бы всем колхозом достроить Натарову избу, а то боец грустит и огорчается, и мысли у него печальные про семью, а на войне и без того у человека много забот...

В последних числах сентября дивизию перебросили под Москву.

Стояли суровые дни октября 1941 года. Враг шел к столице. По приказу немецкого командования фашистские войска должны были в сорок восемь часов прорваться на подступы к городу. Неприятель подтягивал

тяжелые орудия для артиллерийского обстрела Москвы. Немцы уже готовили парад своих войск на Красной площади.

По Волоколамскому шоссе двигались колонны немецкой пехоты. Шли самоходные пушки. Гремели танки. Заброшенными стояли маленькие дачные домики с застекленными верандами, с палисадниками, в которых краснела тронутая морозом рябина...

Но в ста двадцати километрах от Москвы врага встретила 316-я стрелковая, ныне 8-я гвардейская, дважды орденоносная имени генерал-майора Панфилова дивизия, в которой служил Василий Клочков.

„Нахожусь в районе обороны на подступах к родной Москве,— писал он в эти дни жене.—Несколько дней идут жаркие бои. Враг прет, как бешеная свинья, не жалея ничего. Но мы удерживаем его яростные атаки. Писем от вас еще не получал. Говорят, были два письма, но в это время меня считали погибшим, и эти письма где-то странствуют. Нина, сегодня видел тебя во сне. Утром встал, и взгрустнулось немного. Здорово соскучился по тебе и Эличке.

Доченька, а ты соскучилась без меня? Папа бьет фашистов и, когда перебьет их всех, приедет к Эличке и привезет ей гостинцев много-много“.

Грохот выстрелов разрывал в клочья сивые снеговые тучи. Неумолкающий вой снарядов стлался над сырыми черными полями. Тонко визжали пули. Бойцы бежали по полю вперед, увязая в грязи.

Немцы еще напирали. Но в их ярости и злобе уже таилось бессилие. И недалеко был тот час, когда они, подойдя к самым воротам Москвы, дрогнули и откатились назад.

В боях за столицу бойцы всегда видели политрука Клочкова в первых рядах. И смерть будто сторонилась его, отступала, когда он быстрым, легким шагом шел вперед в атакующей цепи.

6 ноября Клочков был представлен к ордену. Командир батальона торжественно вручил ему билет на парад на Красную площадь.

„Ваш папа жив и здоров и неплохо воюет с немецкими и вергами,—писал он жене и дочери на следующий день.—Нинус, я вчера вкратце написал о награде, и поздравил вас с праздником. Сегодня можно написать подробнее.

Представили меня к правительственной награде за боевые действия—к боевому ордену Красного Знамени. Мне кажется, уже не так много я воевал и проявлял героизма. Я только был требовательным к себе, а также к бойцам и командирам. Наше подразделение набило немцев в три раза больше своих потерь.

Словом, наша часть действовала хорошо. Иногда силы противника в пять-шесть раз превосходили наши, но мы сдерживали его атаки.

Сегодня, Нинок, был в Москве на параде, а вечер мы провели в землянках и окопах, но провели неплохо, даже выпил. Конечно, вспомнил тебя и дочь. Жив буду, расскажу обо всем, а рассказывать есть о чем!..“

В этот день, 7 ноября, Клочков поднялся до света. За окном избы железнодорожного обходчика, где жил Клочков, стояла еще мутная, снежная темнота.

Клочков тихонько, босиком прошел к столу. Зажег маленькую керосиновую лампу, оделся, а потом, прислонив зеркальце к походной жестяной кружке, стал бриться, негромко напевая.

В соседней комнате проснулся сынишка обходчика Витя. Он накинул на плечи зимнее пальтецо, которым отец покрывал его на ночь, и вышел посмотреть, что делает политрук.

А политрук уже умылся ледяной водой из бочки, стоявшей в сенях, и растирал покрасневшее лицо полотенцем.

— Дядя Вася, куда так рано?

— В Москву, на парад, на Красную площадь. Знаешь Красную площадь?

— Знаю. Где мавзолей.

— Да, где мавзолей, — задумчиво сказал Клочков. — Старая площадь, всего навидалась...

Он хотел еще что-то прибавить, но, глянув в окно, увидал, что на дворе уже сереет, надел полушубок, перекрестил его ремнями портупей и, сказав, что, когда вернется, все расскажет, вышел.

Он быстро шагал по снежной, укатанной машинами дороге. На перекрестке, возле будки патруля, он остановился. Мимо шла, замедлив ход, грузовая военная машина. Клочков поднял руку.

Когда машина въехала в Москву, было раннее утро. Над Замоскворечьем вставало солнце. Крыши в снегу, мост через Москва-реку, небо над Москвой — все было розовое, в легкой морозной дымке, необыкновенно прекрасное.

Клочков стоял на левой трибуне. Сквозь снежные тучи, которые заволокли все небо, пробивались редкие солнечные лучи. Они горели на куполах храма Василия Блаженного, на кремлевских рубиновых звездах. Красная площадь глядела грозно, настороженно. Казалось, это сама Русь ополчилась на врага.

Шли войска. Шли люди из деревень, из городов, из далеких горных аулов. И, глядя на них, Клочков с какой-то особой, суровой и гордой радостью думал, что эти люди будут биться с врагом до конца, до победы...

На трибуну взошел Сталин...

...В этот день немецкая артиллерия не давала покоя нашему переднему краю. И все-таки бойцы встречали праздник весело. Иван Емцов из роты Клочкова получил посылку: сушеные яблоки и теплые перчатки. Яблоки

сейчас же заварили в котелки, как чай, и пили яблочный отвар, обжигаясь, с наслаждением вдыхая аромат алма-атинского апорта, который наполнил блиндаж. Все вспоминали дом. Теплые перчатки — видно, жена сама вязала — Емцов тут же надел, хотя в печурке пылала дрова и в блиндаже было тепло.

Вернувшись, Ключков прошел не к себе в избу, а в блиндаж, к товарищам. Он застал всех в сборе. Капитан Гундилович поднял алюминиевый складной стаканчик.

— Подождите, — сказал Ключков, — а мне-то что ж? За победу! За наших жен, которые ждут нас! За наш дом! За наше возвращение!..



Утро 16 ноября.

Недалеко от Волоколамска, на линии деревня Петелино — разъезд Дубосеково, занимал оборону полк Капорова. На левом фланге, у самого железнодорожного полотна, закрепилось подразделение сержанта Добробабина — взвод из двадцати восьми бойцов.

Начался снегопад. Густо падал мокрый, быстро тающий снег.

Вражеские батареи обстреливали нашу оборону.

Смерть ходит рядом, а бойцы говорят про пустое прощание, что их не досолил повар, или что хорошо бы сходить в баньку... Скажет это боец и блаженно потянется при одной только мысли о банном тепле, особенно когда кругом снег, и шинель отсырела и хлопает по сапогам, и все до самого белья промерзло, и когда того воскресенья не брились...

Снаряды ложились на правом фланге. Из грязного сырого окопа, в котором засели бойцы сержанта Добробабина, было видно, как снаряды взметали снег, который уже успел покрыть поле, как вздрагивали от разрывов

тонкие голые деревья на той стороне железнодорожного полотна, как летели комья земли, и бойцам было страшно за товарищей, державших оборону на правом фланге.

Бойцы сержанта Добробабина не видели за плотной завесой снега и земли, которая стояла, не оседая, из-за частых разрывов снарядов, как наши части с правого фланга отошли на новые рубежи.

То припадая к земле, то подвигаясь вперед короткими, быстрыми перебежками, приближался к окопу политрук роты Клочков. Пули то и дело взметали вокруг него маленькие быстрые фонтанчики снега.

— Товарищ политрук, держитесь левее, тут все пристреляно! — кричали из окопа.

— Товарищи, — сказал Клочков, спускаясь в окоп, чуть запыхавшись от последней перебежки, — товарищи! — Он замолчал, словно подыскивая нужные слова. — Мы одни на рубеже. Отступать не будем!

Бойцы молчали. Каждый понял, что это будет их последний бой. И кто-то ответил Клочкову за всех:

— Есть драться до последнего!

Прямо на окоп шла рота немецких автоматчиков. Пятьдесят метров... сорок метров отделяли их от окопа.

— Принять бой, — скомандовал командир взвода сержант Добробабин. Он заложил два пальца в рот, и лихой русский посвист взвился над окопом.

— Огонь!

Пулеметная очередь стегнула по немецким автоматчикам. Клочков знал — стреляет Шепетков. До войны он был акробатом в алма-атинском цирке, теперь он славный пулеметчик.

— Давай еще одну — длинную! — крикнул ему Клочков.

Правее стреляет боец Митин. Хорошо стреляет. Вот от его пули свалился высокий ефрейтор. Одна атака отбита. Но за ней следует другая, третья...

К Клочкову подползает санитар Тимофеев.

— Товарищ политрук, кончаются боеприпасы, разрешите доставить. Не сомневайтесь, все будет в полном порядке.

— Хорошо, — отвечал Клочков.

Немцы остервенело лезли вперед. Последнюю пулеметную очередь выпустил Иван Шепетков. Он сел на дно окопа, уставившись в одну точку злыми, покрасневшими от усталости глазами.

Последний диск расстрелял боец Натаров. Он положил на колени еще теплый от стрельбы автомат, и тяжелые бессильные слезы показались у него на глазах.

Во-время вернулся Тимофеев с боеприпасами.

Немцы снова шли в атаку.

— Огонь по фашистам!

— Есть огонь!..

Три часа длился бой. Семьдесят немецких трупов остались лежать на оттаявшей, рыхлой, потемневшей от крови земле.

Дню, казалось, не будет конца. Огромное багровое солнце словно застыло в зените.

Двадцать вражеских танков двинулись на окоп, где закрепились бойцы. И с этого момента начался тот бой, память о котором навеки сохранит история. В снежном, изрытом снарядами поле были только двадцать восемь человек и тупая бронированная смерть, которая двигалась на них. И не было в мире такой силы, которая могла бы заставить этих людей отступить.

...Горят четырнадцать вражеских танков, пораженные гранатами. Еще пять танков пылают слева. Здесь из противотанкового ружья бьет санитар Тимофеев. Клочков смотрит вперед.

— Велика Россия, — говорит он, окидывая взглядом снежное поле, которое уходит до самого горизонта, — а отступать некуда: за нами Москва.

...Погиб боец Митин. Мертв санитар Тимофеев. А там, за спускающейся завесой снежных сумерек, снова движутся танки... И маленькая горсточка уцелевших бойцов готова встретить их.

С гранатой в руках политрук Клочков бросается к тяжелому вражескому танку. Он успел подорвать гусеницу танка и, пронзенный пулями, опустился на землю...

Боец Натаров в ту ночь ползком добрался до леза. Там его нашли наши разведчики. Он умер в госпитале — последний из двадцати восьми героев. Перед смертью он передал нам завещание своих товарищей:

— Мы принесли свои жизни на алтарь отечества. Не проливайте слез у наших бездыханных тел. Стиснув зубы, будьте стойки. Мы знали, во имя чего идем на смерть, мы выполнили свой воинский долг, мы преградили путь врагу. Идите в бой с фашистами и помните: победа или смерть! Другого выхода у вас нет, как не было его и у нас. Мы погибли, но мы победили!



...В Алма-Ате стояли еще ясные дни. Снегу прибавилось на горах, но было солнечно, и воздух стеклянной чистоты наполнял город.

Нина Георгиевна Клочкова возвращалась домой через парк. В маленьком, обнаженном осенью розарии она присела на скамейку. Она устала после работы и теперь отдыхала, набиралась тишины перед тем, как притти домой и заняться домашними делами. Нина Георгиевна работала сестрой в четвертой детской больнице, в которой были дети из Ленинграда, с Украины.

Пора домой... Солнце спускалось за снежными горами. Все вокруг: и небо, и парк, и голые вершины деревьев —

все было облито чистым розовым блеском заходящего солнца.

Нина Георгиевна вошла в дом и сразу увидела на подоконнике письмо, сложенное треугольничком, — письмо из действующей армии.

Незнакомый почерк, размашистый и круглый, удивил ее. Она вскрыла конверт.

„...Пусть будет единственным утешением в вашей тяжелой утрате, что родина никогда не забудет славный подвиг Василия Георгиевича...“

Она все поняла. Она не плакала. Она сидела, уронив письмо на колени.



На разъезде Дубосеково, недалеко от Волоколамска, за сторожкой путевого обходчика, жители похоронили Василия Георгиевича Ключкова. Они знали в лицо политука, нашли его тело среди других. В безмолвии, обнажив головы, рассекали они лопатами жесткую, смерзшуюся землю, рыли могилу герою.

И только маленький Витя, сынишка железнодорожного обходчика, присев у могилы на корточки, плакал горькими, тихими слезами.

На могиле двадцати восьми героев водружен памятник. Тысячи воинов приходят к нему, чтобы почтить память погибших.

Кончится война, и огромный розовый сад посадим мы вокруг этой могилы, чтобы люди слушали соловьев, смотрели в звездное небо, волею грудью вдыхали нежный аромат мирной земли, вспоминая тех, кто за этот мир, за эту тишину отдал свою жизнь.

